

реквием по масс-медиа*

Поэтика и политика. Альманах Российско-французского центра социологии и философии ИС РАН. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1999.

ВХОДНАЯ**

Теории масс-медиа не существует. «Революция масс-медиа» до сих пор остается эмпиричной и мистической как у Мак Лухана, так и его противников. Мак Лухан с присущей канадцам резкостью говорит, что теория Маркса — современница промышленности эпохи пара и возникновения железных дорог — претерпела революционные изменения еще при жизни ее основателя, во времена появления телеграфа. Это откровенное высказывание означает, что Маркс в своем материалистическом анализе производства как бы исключает язык, знаки, средства коммуникации из производительных сил. По правде говоря, у Маркса даже не существует теории железных

* Baudrillard J. Requiem pour les media // Baudrillard J. Pour une critique de l'économie politique du signe. — Paris: Éditions Gallimard, 1972 — P. 200-228.

© Éditions Gallimard, 1972

** Молитва перед началом мессы. — *Прим. перев.*

дорог, в которой бы те понимались как «медиум», как средство связи: Маркс рассматривает железные дороги, равно как и все развитие техники, лишь под углом зрения производства, производственного, материального, инфраструктурного базиса, единственно определяющего развитие общественных отношений. «Способ коммуникации», обреченный оставаться промежуточной идеальной реальностью и «слепой» социальной практикой, на протяжении целого столетия имел все возможности «совершать революцию», абсолютно ничего не изменяя в теории способа производства.

При том условии, что мы не рассматриваем обмен знаками в качестве «надстроечного» измерения жизни человеческих существ (что уже является революционным по отношению к марксистскому наследию), которых «единственно верная» (материалистическая) теория определяет как «производителей их собственной жизни» (т. е. благ, предназначенных для удовлетворения потребностей), можно представить себе две перспективы.

Первая. Можно сохранить общую линию марксистского анализа (диалектическое противоречие между производительными силами и производственными отношениями), допустив, однако, что «классическое» определение производительных сил является определением *ограниченным*, и расширить анализ в терминах производительных сил на все закрытое для такого рода исследование поле знаков и коммуникаций. Это повлечет высвобождение противоречий, порожденных теоретическим и практическим расширением предмета политической экономии. Таковой была исходная гипотеза Энзенбергера в его статье в «*New Left Review*» («*Constituents of a theory of the media*», осень 1970):

«Монополистический капитализм наиболее быстро и самым широким образом по сравнению со всеми прочими сферами производства развивает индустрию со-

знания. Но в то же время он вынужден ограничивать и тормозить ее развитие. Именно над этим противоречием должна призадуматься социалистическая теория масс-медиа».

В конечном счете эта гипотеза принимает во внимание лишь факт расширения товарной формы на все сферы общественной жизни и тот факт, что, в сущности, с этих пор существует и «классическая» теория коммуникации, — «буржуазная» политическая экономия знаков и их производства, — подобно тому, как начиная с XVIII века существовала теория материального производства, — классовая теоретическая дисциплина¹, до сих пор не получившая никакой критической оценки; которая была бы логическим продолжением критической теории Маркса своего времени. Подобная *критика политической экономии знака* была невозможной из-за отнесения всей ее области к надстройке. Таким образом, гипотеза Энзенбергера в лучшем случае способна лишь несколько компенсировать значительное отставание классической марксистской теории.

Вторая гипотеза является радикальной только по отношению к официальному марксизму, который, будучи полностью погружен в доминантные модели, решительно отмежевывается от нее в целях собственного выживания. Действительно *радикальная альтернатива лежит вне этой плоскости*. Речь идет о том, чтобы вместо новой интерпретации в классических терминах производительных сил ключевой проблемы, которую ставит перед революционной теорией производство смысла, сообщений и знаков — т. е. вместо расширения марксистского анализа, рассматриваемого как окончательный и опломбированный «глашатаями Революции», — совершить подлинный переворот в этой теории в свете возникновения в теоретическом поле указанной проблемы (на что не решился бы ни один «уважающий себя» марксист даже в виде гипотезы).

Иначе говоря, марксистская теория производства, вероятно, носит неисправимо частичный характер и не может получить более широкого толкования. Или так: теория производства (последовательность диалектических противоречий, связанных с развитием производительных сил) в высшей степени сходна со своим объектом, *материальным* производством, и не может быть перенесена в качестве постулата или теоретической рамки на предметы, которых она никогда не касалась². Диалектическая форма адекватна определенному содержанию — содержанию материального производства: она полностью исчерпывает его смысл, но не выходит за рамки — таков ее архетип — определения данного объекта. Диалектика рассыпается в прах, ибо она задана в качестве системы интерпретации *отдельного* уровня материального производства.

Эта гипотеза, в общем-то, логична. Она придает марксистскому анализу целостность, внутреннюю однородность, не позволяющую удержать какой-либо элемент этой целостности и вырвать из нее другой элемент, прибегая к разного рода уверткам, особо тонкое искусство которых демонстрируют альтюссерианцы. Мы же, напротив, придадим марксистской теории наибольшую целостность, и именно в силу этого будем утверждать, что целостность эта должна быть разрушена, ибо она не способна дать ответ на запросы социального процесса, далеко выходящего за рамки процесса (материального) производства³.

энзенбергер: «социалистическая» стратегия

Лишенные наступательной теории и стратегии «левые» силы, — говорит Энзенбергер, — остаются безоружными. Они довольствуются лишь тем, что разоблачают культуру масс-медиа как идеологические манипуляции. Они мечтают о захвате власти над масс-медиа то как

средства, способствующего становлению революционного сознания масс, то как *следствия* радикального изменения социальных структур. Все это — лишь робкие и противоречивые попытки, просто отражающие неспособность интегрировать масс-медиа в теорию базиса и надстройки. Поскольку их не рассматривают в качестве нового гигантского потенциала развития производительных сил (Энзенбергер), масс-медиа (и, нужно заметить, вся область знаков и коммуникации) остаются социальной тайной для «левых»: последние разрываются между зачарованностью и необходимостью практического действия по отношению к этому волшебству, влияния которого они не могут избежать, но которое они осуждают с моральной и теоретической точек зрения (совершенно очевидно, что устами Энзенбергера в данном случае говорит и занимается самокритикой «левый интеллигент»). Подобная двойственность позиции лишь отражает двойственность самих масс-медиа, не выходя за пределы и не уничтожая последней. Будучи хорошим марксистским социологом, Энзенбергер вменяет эту «фобию» интеллигенции и левых движений в вину их буржуазному или мелкобуржуазному происхождению: они инстинктивно защищаются от массовой культуры, поскольку та разрушает их культурные привилегии⁴. Быть может, вместо того, чтобы задаваться вопросом, истинно или ложно данное утверждение, лучше выяснить долю ответственности левой интеллигенции в этом ее зачарованном пренебрежении, в этом тактическом смятении и отказе от какого бы то ни было исследования, ответственность предрассудков марксизма, его ностальгический идеализм по поводу надстроечных явлений и теоретическую аллергию по отношению к тому, что не является «материальным» производством и «производительным трудом». «Революционная» доктрина принимала во внимание обмен знаками лишь с точки зрения его функционального использования: ин-

формация, ее распространение, пропаганда. И современное новое видение общественных отношений, вся модернистская субкультура левых партий созданы отнюдь не для того, чтобы сломать сложившуюся тенденцию: они в достаточной степени демонстрируют, каким образом буржуазная идеология может объясняться иначе, нежели через «социальное происхождение».

Все это выливается, говорит Энзенбергер, в политическую шизофрению левых. С одной стороны, революционная, ниспровергающая фракция бросается в аполитичное изучение новых масс-медиа (субкультура, *underground*); с другой, «воинствующие» политические группы живут еще в основном в архаичном мире коммуникации, отказываясь «вступить в игру», использовать гигантские возможности электронных масс-медиа. Так, он упрекает студентов майских волнений 68-го года за использование ими кустарных способов (изящное искусство) для распространения своих лозунгов, за то, что они заняли Одеон — старое святилище культуры, — а не *ORTF*.

Сама по себе мысль Энзенбергера считает себя оптимистичной и наступательной. Масс-медиа в настоящий момент находятся во власти господствующих классов, *обращающих* их себе на пользу. Но самая *структура* масс-медиа остается «эгалитарной по своей сути», и именно революционной практике предстоит высвободить потенциальные возможности, заложенные в масс-медиа, но искаженные капиталистическим строем, — или, скажем так: освободить масс-медиа, вернуть им их социальное предназначение открытой коммуникации и безграничного демократического обмена, их подлинно социалистическое призвание.

Совершенно очевидно, что речь здесь идет лишь о расширении все той же схемы, которая всегда — от Маркса до Маркузе — была связана с развитием производительных сил и техники. Эти факторы являются залогом

совершенствования человечества, но капитализм замораживает их или вовсе уничтожает. Эти силы несут в себе освобождение, но их самих еще нужно высвободить⁵. Как мы видим, масс-медиа не могут избежать той же фантастической логики филигранного вписания революции во все предметы. В этом случае распространение на масс-медиа логики производительных сил не является критическим актом, ибо речь идет об их полном замыкании в революционной метафизике.

Впрочем, как обычно, подобная позиция запутывается в противоречиях. С одной стороны, масс-медиа обеспечивают все более и более продвинутую социализацию — и хотя технически это представляется возможным, не существует замкнутого телевидения для *happy few*, «так как это шло бы вразрез со структурой средств ТВ» (*«against the grain of the structure»*) — «впервые в истории человечества масс-медиа делают возможным участие масс в социальном и социализированном производительном процессе, участие, практические средства осуществления которого сосредоточены в руках самих масс». С другой стороны, «социалистическое движение должно и будет бороться за обладание собственными эфирными каналами». Но к чему же бороться (в особенности за обладание собственными каналами), раз масс-медиа сами по себе осуществляют социализм? Если они призваны к этому самой своей структурой?

Современный порядок, говорит Энзенбергер вслед за Брехтом («Теория радио», 1932), сводит масс-медиа к простому «опосредованию в распространении», тогда как их следует превратить в подлинное средство коммуникации (все та же мечта, преследующая воображение марксистов: оторвать предметы от их меновой стоимости с тем, чтобы связать их с потребительской стоимостью); и подобная трансформация, добавляет он,

«не представляет собой проблемы с технической стороны». Но:

1. Неверно, что при нынешнем порядке вещей масс-медиа принадлежат к сфере «чистого и простого распространения». В данном случае это опять означало бы их подмену идеологией, детерминируемой извне (сферой материального производства). Иначе говоря, масс-медиа как *marketing* и *merchandising* господствующей идеологии. Отсюда и смешение отношения капиталист/наемный рабочий с отношением производитель-распространитель масс-медиа/воспринимающие их массы. Масс-медиа продуцируют социальное отношение не в качестве носителя содержания, но самой своей формой и своей реализацией, и это социальное отношение предстает не отношением эксплуатации, но отношением абстрагирования, обособления, уничтожения обмена. Масс-медиа — не *коэффициент*, но *оператор* (*effecteur*) идеологии. Они не только не являются революционными по своему предназначению, они даже не являются в каких-то других своих сторонах или в возможности нейтральными или не-идеологическими (фантазм их «технического» статуса или их социальной «потребительской стоимости»). Аналогичным образом нельзя утверждать, что идеология, прежде чем найти свое воплощение в масс-медиа, существует в некоей сфере в качестве дискурса господствующего класса. Точно так же обстоит дело и в области товарного производства: товар нигде не имеет никакого другого статуса реальности («потребительская стоимость продукта»), кроме той формы, которую он принимает в операциях системы меновой стоимости. И идеология не является более чем-то воображаемым, следующим в фарватере меновой стоимости, она есть сама операция с меновой стоимостью. После Реквиема по Диалектике следует исполнить Реквием по Базису и Надстройке.

2. Из этого следует, что когда Брехт и Энзенбергер

утверждают, будто бы превращение масс-медиа в подлинное средство коммуникации технически не представляет проблемы («это превращение — говорит Брехт, — есть лишь естественное следствие технического развития масс-медиа»), то это их высказывание нужно понимать в действительности так (как раз наоборот и не прибегая здесь ни к какой игре словами), что *это именно не техническая проблема*, ибо идеология масс-медиа находится на уровне *формы*, устанавливаемого разделения, являющегося делением *социальным*.

безответная речь

Характерной чертой масс-медиа является то, что они предстают в качестве антипроводника, что они нетранзитивны, что они антикоммуникативны, — если мы примем определение коммуникации как *обмена*, как пространства взаимосвязи слова и *ответа*, а следовательно, и *ответственности*, — что они вовсе не обладают психологической и моральной ответственностью, но выступают в качестве личностной корреляции одной и другой стороны в процессе обмена. Иными словами, если мы определяем коммуникацию как нечто иное, нежели просто передача/прием информации, то последняя подвержена обратимости в форме *feed-back*. Таким образом, вся современная архитектура масс-медиа основывается на этом нашем последнем определении: *они являют собой то, что навсегда запрещает ответ*, что делает невозможным процесс обмена (разве только в формах *симуляции* ответа, которые сами оказываются интегрированными в процесс передачи информации, что, однако, ничего не меняет в однонаправленности коммуникации). Именно в этом — их подлинная абстракция. И именно на этой

• Обратная связь (англ.). — Прим. перев.

абстракции основывается система социального контроля и власти.

Для того, чтобы хорошо уяснить себе смысл термина «ответ», последний нужно взять в строгом его смысле, а для этого нужно обратиться к эквиваленту этого термина в «примитивных» обществах: власть принадлежит тому, кто способен ее дать и *кому она не может быть возвращена*. Отдать и сделать так, чтобы вам было невозможно вернуть отданное, означает: разорвать процесс обмена в свою пользу и установить монополию — тем самым социальный процесс оказывается нарушенным. Вернуть отданное, напротив, означает разрушить властные отношения и образовать (или вновь образовать) на основе антагонистической взаимосвязи цепь символического обмена. То же самое происходит и в области масс-медиа: нечто оказывается произнесенным, и все делается таким образом, *чтобы на эти слова не было получено никакого ответа*. Поэтому-то единственно возможная революция в этой области — как, впрочем, и во всех других областях (т. е. просто революция) — есть восстановление возможности ответа. Эта простая возможность предполагает переворот во всей современной структуре масс-медиа.

Никакой иной возможной теории или стратегии не существует. Все робкие попытки демократизировать содержание, разрушить его, восстановить «прозрачность кода», контролировать процесс передачи информации, создать обратимость связей или взять контроль над масс-медиа представляются абсолютно безнадежными, если не разрушена монополия слова. Причем разрушить эту монополию надо не для того, чтобы дать это слово лично каждому, но так, чтобы это слово вступило в процесс обмена, обрело бы способность быть переданным и быть возвращенным, подобно взгляду, а порой и улыбке, и так, чтобы этот процесс никогда бы не смог быть остановлен, заморожен, скован и заново воссоздан в каком-либо ином месте социального процесса.

На настоящий момент мы пребываем в состоянии не-ответа, безответственности. «Минимальная автономная деятельность со стороны наблюдателя или избирателя», — говорил Энзенбергер. И действительно, первым и самым прекрасным из всех масс-медиа является избирательная система: ее вершиной выступает референдум, в котором ответ уже заключен в вопросе; равно как и в разного рода опросах слово везде отвечает самому себе посредством уловки, замаскированной под ответ, и здесь также абсолютизация слова под формальной личиной обмена выступает в виде самого определения власти. Барт описывает подобную не-взаимность в литературе так:

«Современная литература переживает жесточайший разлад между изготовителем и пользователем текста, между его владельцем и клиентом, между писателем и читателем — разлад, поддерживаемый самой литературой как социальным установлением. При таком положении вещей читатель пребывает в состоянии праздности, нетранзитивности, иными словами, принимает все слишком *всерьез*: вместо того, чтобы сделать собственную ставку в игре, сполна насладиться чарами означающего, упиться сладострастием письма, он не получает в удел ничего, кроме жалкой свободы принять или отвергнуть текст: чтение оборачивается заурядным *референдумом*»⁸.

Статус *потребителя* обрекает сегодня на положение ссыльного, а обобщенный порядок потребления представляет собой не что иное, как порядок, при котором не дозволяется давать, возвращать, обменивать, а разрешается только брать и использовать (присвоение, индивидуализированная потребительская стоимость). В этом смысле блага «потребления» являются также и средством соглашения масс: они отвечают уже описанной нами общей форме. Их специфическая функция не играет почти никакой роли — потребление продуктов и

содержания сообщений есть установление абстрактных общественных отношений, есть запрет, налагаемый на любую форму ответа и обратимости.

Таким образом, неверны ни утверждение Энзенбергера о том, что «впервые в истории масс-медиа делают возможным участие масс в общественном процессе производства», ни его положение о том, что «практические средства этого участия сосредоточены в руках самих масс». Можно подумать, что обладание телевизором или видеокамерой открывает новую возможность установления отношений и обмена! Оно дает ничуть не больше возможностей, чем обладание холодильником или тостером. Нельзя дать *ответ* функциональному предмету: такова его функция — он интегрирует в себе слово, на которое уже дал ответ и которое не оставляет места для игры, для взаимных *ставок* (если речь не идет о разрушении этого предмета или изменении его функции)⁹. Функциональный предмет, как и любое содержание сообщений, которое масс-медиа делают функциональным, как и референдум, осуществляют, таким образом, контроль над разрывом, возникновением смысла, критикой. В самом предельном случае власть (если же, конечно, она сама не пребывает во власти содержания и не уверена в силе идеологического «убеждения» масс-медиа, а следовательно, в необходимости контроля за содержанием сообщений) должна была бы предложить каждому гражданину телевизор, не заботясь о программах. Бесполезно вообразить себе полицейский контроль власти над ТВ (Оруэлл, «1984»): самим своим существованием ТВ представляет социальный контроль над самим собой. Нет нужды и вообразить его себе в качестве шпионящего глаза режима в частной жизни каждого гражданина; телевидение куда больше, чем все это: это *уверенность в том, что люди больше не разговаривают между собой*, что они окончательно изолированы — перед лицом слова, лишённого ответа.

В этом смысле Мак Лухан, которого Энзенбергер презрительно называет чревовещателем, гораздо более близок к теории, когда он утверждает, что «медиум есть послание» (за исключением тех случаев, когда, будучи совершенно слепым по отношению к общественной форме, о которой мы говорим, он перевозносит масс-медиа и их планетарное содержание с исступленным оптимизмом жителя первобытного племени). Утверждение «*Medium is Message*» не является критическим, но в своей парадоксальной форме имеет аналитическую ценность¹⁰, тогда как наивность Энзенбергера по отношению к «структурной природе масс-медиа», возможности которой «не может позволить себе высвободить ни одна власть», представляющая себя революционной, — не более, чем мистификация. Это мистификация социалистического предопределения масс-медиа, хотя и противоположна, но вместе с тем дополняет оруэлловский миф о террористическом манипулировании ими со стороны власти. Сам Господь Бог выступал бы за социализм, коль скоро так утверждают христиане.

стратегия разрушения и «символическое действие»

Как мы могли видеть, масс-медиа сыграли свою роль в мае 68-го, спонтанно углубив революционное движение. В тот период был по крайней мере один момент, когда масс-медиа (неосознанно) повернулись против власти. Именно на этом переломе и этом возможном повороте строится стратегия разрушения американских яппи (Хоффман, Рубен) и вырабатывается в рамках мировых революционных движений теория «символического действия»: заставить масс-медиа свернуть с их пути, обусловленного властью цепной реакции; использовать их функцию мгновенного распространения информации. Это подразумевает: воздействие масс-медиа обратимо,

это переменная классово́й борьбы, которую нужно уметь обращать себе на пользу. Не является ли это еще одной великой стратегической иллюзией?

Май 68-го может служить нам здесь примером. Все заставляет нас поверить в разрушительный удар масс-медиа в этот период. Радиостанции, газеты с периферии повсюду разнесли весть о студенческом наступлении. Если действия студентов были детонатором, то масс-медиа выступили в роли резонатора. Власть не упустила случая обвинить их в революционных «играх». Но подобного рода очевидность основывалась на недостаточном анализе. Я бы утверждал обратное: в данном случае масс-медиа как никогда лучше исполнили свою роль и в своей *обычной* функции социального контроля были на высоте событий. И все это оттого, что они сохранили свою *форму* (при кардинальном изменении своего содержания) и оттого, что именно эта форма вне зависимости от контекста непреложно делает масс-медиа солидарными с системой власти. Распространяя сообщение о событии в *абстрактной всеобщности* общественного мнения, они *навязали* событию внезапное и несоразмерное развитие, и самим этим принудительным и ускоренным развитием они лишили движение изначально присущего ему ритма и свойственного ему смысла — одним словом, они произвели короткое замыкание.

В традиционном поле политики (правые или левые)¹¹, там, где происходит обмен освященными *моделями* и каноническим словом, масс-медиа осуществляют передачу без искажения смысла. Они являются гомогенными этому самому слову, подобно тому, как они являются гомогенными обращению товара. Но ведь трансгрессия и разрушение передаются по волнам только в том случае, если они как таковые подвержены искусному отрицанию: превращенные в *модели*, нейтрализованные в знаках, они лишаются своего смысла¹². Не

существует модели трансгрессии, прототипа, серии. Таким образом, еще одним прекрасным способом уничтожения трансгрессии является превращение ее в убийственную рекламу. По началу эта операция может заставить нас поверить в «сенсационные» результаты. Но на самом деле она равнозначна дезорганизации всего движения путем лишения его присущего ему импульса. Акция разрыва превратилась со временем в бюрократическую модель — в этом суть работы масс-медиа¹³.

Все это читается в деривации, отклонении термина «символическое». Акция 22 марта 1968 г. в Нантере носила символический характер, ибо она была трансгрессивной, потому что в известный момент и в известном месте она вообразила радикальный разрыв или, используя лексику предложенного свыше анализа, вообразила *ответ* там, где институт административной и педагогической власти говорил в одиночку и не должен был позволить никакого ответа. А символический характер этой акции был обусловлен не только фактом распространения информации и заражения масс-медиа. Тем не менее сегодня все в большей степени именно эта точка зрения (шок от огласки) оказывается достаточной для определения символической акции. В конечном итоге подрывное действие дает результат лишь в *зависимости от своей способности к воспроизводству*¹⁴. Оно не воображает себя, оно сразу же производится как *модель*, как жест. Символическое перешло из разряда самого производства смысла (политического или какого-то иного) в разряд своего воспроизводства, которое всегда есть воспроизводство власти. Символическое превращается в простой и чисто символический коэффициент, а трансгрессия становится меновой стоимостью.

Вся критическая рационалистическая мысль (Беньямин, Брехт, Энзенбергер) видит в этом решительное продвижение вперед. Масс-медиа лишь актуализируют и усиливают «*демонстративную* природу любого поли-

тического действия» (Энзенбергер). Совершенно очевидно, что все это согласуется с *дидактической* концепцией революции и, более того, с «диалектикой осознания» и т. д. Эта рационалистическая мысль не является отрицанием буржуазной мысли Просвещения, она является наследницей всех просвещенческих концепций демократической (т. е. революционной) добродетели распространения просвещения. В своем педагогическом рвении эта мысль забывает — политический акт, решительно направленный на масс-медиа и ожидающий от них власти, — что масс-медиа со своей стороны также решительно направлены на деполитизацию действия. В поддержку моей точки зрения могу привести любопытный факт: современное проникновение происшествий в сферу политического (что совпадает с идеей Бенямина о переходе произведения искусства во имя своего воспроизводства в политическую сферу). Цунами в Пакистане, матч по боксу между чернокожими в США, хозяин бистро, выстреливший в молодого человека и т. д. — все события такого рода, некогда выглядевшие мелкими и аполитичными, благодаря мощи средств распространения получают социальный и «исторический» размах. Конфликтуализация событий, заполнявших раньше газетные хроники, обретает новый смысл; в происшествиях кристаллизуются новые формы политики, которые в значительной степени возникают благодаря масс-медиа. Эти различные факты являются «символическими действиями», но не независимыми, а возвращенными в русло политической значимости. Нет никакого сомнения и в двойственном характере оценки этих событий: если благодаря масс-медиа под внешним покровом происшествий возникает политическое измерение, то точно также благодаря масс-медиа категория происшествия повсюду захватывает политику. Впрочем, благодаря масс-медиа, само происшествие изменило свой статус: из второстепенной категории, пришедшей к нам из алма-

нахов и народных хроник, происшествие превратилось во всеобщую систему мифологической интерпретации, тесную сеть моделей значимости, из которой не может ускользнуть ни одно событие. В этом — суть развития масс-медиа. Это не просто совокупность технических средств для распространения содержания информации, это *навязывание моделей*. В данном контексте формула Мак Лухана подлежит пересмотру: *Medium is Message* осуществляет перенос смысла на само средство как технологическую структуру. Она также отдает технологическим идеализмом. На самом деле великое Средство есть Модель. Передаче подлежит не то, что проходит через прессу, ТВ, радио, но то, что улавливается формой/знаком, оказывается артикулировано в моделях, управляется кодом. Точно так же товар — это не то, что производит промышленность, а то, что опосредованно системой абстракций меновой стоимости. Мы видим как нельзя лучше, что то, что может произойти под знаком масс-медиа, есть формальное преодоление категорий происхождения и политического и традиционного их разделения, которое, однако, подчиняет одному общему коду. Весьма странно, что никто никогда не пытался выявить стратегическое значение этой *принудительной социализации* в качестве системы социального контроля. Повторим еще раз: система выборов являет тому первый значительный исторический пример. И всегда было достаточно революционеров (некогда довольно крупных, сегодня же куда более мелкого масштаба), полагавших, что они способны «сделать на этом свою игру». Даже всеобщая забастовка, этот повстанческий миф стольких поколений, превратилась в редуccionистскую схему. Забастовка мая 68-го, развитию которой масс-медиа в значительной степени способствовали, распространив ее на все уголки Франции, внешне выглядела как кульминационный момент кризиса, но на деле она стала началом его декомпрессии, его асфиксии из-за непомер-

ного расширения, началом его поражения. Конечно же, в забастовку вступили тысячи рабочих. Но они понятия не имели, что им делать с этой «медиатизированной» забастовкой, транслируемой и воспринимаемой (будь то при помощи масс-медиа или при помощи профсоюзов) в качестве модели действия. Будучи в некотором смысле абстрактной, она нейтрализовала местные, сквозные, стихийные (хотя и не все) формы действия. Гренельские соглашения не изменили этой модели действия. Они санкционировали *переход к всеобщности политического действия, который кладет конец специфичности действия революционного*. Сегодня эта модель стала (в форме намеренного расширения забастовки) совершенным орудием профсоюзов в их борьбе с несанкционированными выступлениями.

Избирательная система, всеобщая забастовка тоже являются в некотором смысле масс-медиа. Играя на формальной, расширительной социализации, они представляют собой наиболее изощренные и наиболее прочные институты фильтрации, разрушения и цензуры. И здесь нет ни исключений, ни чудес.

Подлинным революционным средством передачи информации в этом Мае были стены и начертанные на них слова, сделанные от руки плакаты и афиши, улица, на которой слово рождалось и вступало в контакт, — т. е. все то, что было *непосредственно* создано, что было отдано и возвращено, высказано и получено назад в виде ответа, все то, что было подвижно, что пребывало в одном и том же месте и в одно и то же время, что содержало в себе моменты взаимной связи и антагонизма. В этом смысле улица есть альтернативная и разрушительная форма всех масс-медиа, поскольку, в отличие от последних, она не является объективированной опорой передаваемого содержания, остающегося без ответа, сетью передачи информации на расстояние; улица — это пространство, в котором уже проложен путь символическо-

го обмена словом эфемерным и угасающим, словом, не отражающимся на платоновом экране масс-медиа. Будучи институционализированным при помощи средств воспроизведения, превращенным в зрелище при помощи масс-медиа, слово умирает.

Таким образом, вера в критическое *обращение* масс-медиа является стратегической иллюзией. Критическое слово в наши дни идет через *разрушение* масс-медиа как таковых, через их деконструкцию как системы не-коммуникации. Оно не влечет за собой уничтожения масс-медиа, подобно тому, как радикальная критика дискурса не влечет за собой отрицания языка в качестве означающего материала. Но это, безусловно, подразумевает уничтожение их нынешней структуры, функциональной и техничной, их, если можно так выразиться, операциональной формы, отражающей форму социальную. Конечно же, в предельном случае исчезает и должно исчезнуть само понятие средства передачи: вступающее в обмен слово, обоюдный и символический обмен отрицает функцию *медиума*, опосредующего звена. Это понятие может означать некое техническое явление (звук, образ, волны, энергию и т. д.), равно как и некие производные тела (жесты, язык, сексуальность), но они в данном случае не играют более роли *медиума*, роли автономной системы, управляемой кодом. Обоюдность имеет место через разрушение медиума как такового. «Всматриваясь в собственное жилище, объятые пламенем. встречаешься, наконец, со своими соседями» (*Jerry Rubin, «Do it»*).

теоретическая модель коммуникации

Резюмируем основные гипотезы.

1. Мак Лухан (для памяти): масс-медиа производят революцию, они и есть сама революция вне зависимости от их содержания, благодаря только своей техноло-

гической структуре. Вслед за фонетическим алфавитом и книгой — радио и кино. Вслед за радио — телевидение. Отныне мы вступили в эру мгновенной коммуникации, объемлющей всю планету.

2. Масс-медиа контролируются властью. Их нужно вырвать из ее рук либо посредством взятия власти, либо приведя их в полное расстройство при помощи демонстративного раздувания их разрушительного содержания. В данном случае масс-медиа рассматриваются лишь как сообщение. Их форма не вызывает сомнений (точно так же она не вызывает сомнений и у Мак Лухана, у которого опосредующее звено представлено лишь в качестве опосредующего звена).

3. Энзенбергер: нынешняя форма масс-медиа подразумевает определенный тип общественной связи (подобный типу связи капиталистического способа производства). Но благодаря своей структуре и своему развитию масс-медиа включают в себя потенциальные возможности социалистического производства и демократизации коммуникации, рационализации и универсализации информации. Нужно лишь высвободить этот потенциал.

Нас (мы не говорим в данном случае о совпадающей с буржуазной практике официальных левых марксистского или немарксистского толка) интересует только гипотеза Энзенбергера (марксистско-просвещенческая) и гипотеза американских левых радикалов (напускное левачество). Мы проанализировали их как *стратегические иллюзии*, причина которых состоит в том, что как первое, так и второе направление разделяют с господствующей идеологией имплицитное отношение к одной *теории коммуникации* — теории всеми принимаемой, подкрепленной очевидностью и высоко «научной» формализацией, осуществляемой научной дисциплиной, — семио-лингвистикой коммуникации, — опирающейся, с одной стороны, на структурную

лингвистику, а с другой, — на информатику, получившую поручительство университетов и массовой культуры (работники масс-медиа обожают ее). Вся концептуальная надстройка этой теории в идеологическом отношении схожа с господствующей практикой, как была схожа с ней и до сих пор пребывает таковой классическая политическая экономия. Она *есть* эквивалент этой буржуазной политической экономии в области коммуникаций. И я думаю, что если революционная практика осталась во власти стратегической иллюзии масс-медиа, то произошло это оттого, что революционеры всегда занимались лишь поверхностным критическим анализом, не выходя на радикальную критику той идеологической матрицы, каковой является теория коммуникации.

Будучи специально формализованной Якобсоном, она берет в качестве исходной единицы следующую последовательность:

передающая инстанция — сообщение — принимающая инстанция
(*кодированная инстанция — сообщение — декодирующая инстанция*),

где сообщение структурировано кодом и определено контекстом. Каждому из этих «понятий» соответствует специфическая функция: справочная, поэтическая и т. д. Каждый процесс коммуникации, таким образом, имеет одну направленность — от передающей инстанции к принимающей; последняя, в свою очередь, также может стать передающей инстанцией, та же схема повторяется, и коммуникация всегда может быть сведена к этому простому единству, в котором оба полярных понятия никогда не меняются местами. Такая структура считается объективной и научной, поскольку она следует правилу метода: расчленение объекта на простые элементы. На самом же деле она довольствуется формализацией эмпирических данных, абстрагированием от

очевидного и от переживаемой реальности, т. е. от идеологических категорий, используемых для объяснения определенного типа социальной связи — того, в котором один говорит, а другой — нет, в котором один имеет право на выбор кода, другой же — свободен единственно подчиниться ему или уклониться. Эта структура основывается на том же произволе, что и структура значения: оба термина здесь искусственно изолируются, а затем искусственно объединяются при помощи объективированного содержания, называемого «*message*». Между ними не существует ни обоюдной связи, ни следов присутствия одного из этих двух терминов в другом¹⁵, потому что и тот, и другой определяются изолированно по их отношению к передаваемому содержанию и к коду, «интермедиуму», поддерживающему тот и другой термин в *соответствующем* положении (именно код поддерживает их обоих в «соответствии») на расстоянии друг от друга, расстоянии, которое заполняет полная и автономизированная «ценность» передаваемого содержания (на самом деле — его меновая стоимость). Эта «научная» конструкция устанавливается через *модель симуляции* коммуникации, из которой изначально исключены обоюдность, антагонизм партнеров или амбивалентность их обмена. На самом деле циркулирует информация, содержание, смысл которой предполагается хорошо читаемым и однозначным. Именно инстанция кода гарантирует эту однозначность и тем самым относительные положения кодирующей и декодирующей инстанций. Все сходится: формула обладает формальной связностью, которая делает ее единственно *возможной* схемой коммуникации. Но если мы предположим, что существует *амбивалентное* отношение, то все это построение рухнет. Ведь не существует кода амбивалентности. А без кода не существует ни кодирующей, ни декодирующей инстанции, и все наши фигуранты улетучиваются. Не существует более и сообщения, потому что оно опреде-

ляется как «переданное» и «принятое». Вся формализация существует только для того, чтобы избежать этой катастрофы. В этом — ее «научность». Но на самом деле она обосновывает терроризм кода. В этой направляющей схеме код превращается в единственную инстанцию, которая говорит, которая сама вступает в процесс обмена и воспроизводится через разъединение двух концов отношения и однозначность (или двузначность, или многозначность, не важно: через не-амбивалентность) послания. (Точно также в процессе экономического обмена обмениваются не столько люди, сколько через них воспроизводится система меновой стоимости). Таким образом, этой базовой формуле коммуникации удастся дать в качестве уменьшенной модели, образцовой редукции социального обмена *такого, как есть*, во всяком случае, как его определяют абстракция кода, принудительную рационализацию и терроризм обособления. Так протекает объективация науки.

Обособление и ограждение: та же самая схема имеет место и на уровне знака в лингвистической теории. Каждый знак, разрывается на обозначающее и обозначаемое, где одно предназначено другому, но находится в «соответствующем» положении, и каждый знак, из глубин своей принудительной изоляции «коммуницирует» со всеми другими знаками через код, именуемый языком. Здесь также налагается «научный» запрет на возможность членов вступать в символический обмен за пределами различия фонетическая форма/смысловое содержание, например, в поэтическом языке. В поэзии, как и в символическом обмене, члены *дают друг другу ответ* за пределами кода. И это именно тот ответ, о котором на протяжении всей нашей работы мы говорили как о разрушающем всякий код, всякий контроль, всякую власть, и который, напротив, всегда основывается на разделении членов и их абстрактной артикуляции.

Здесь теория значения служит ядерной моделью для теории коммуникации, и произвол знака (теоретическая схема угнетения смысла) приобретает свой политический и идеологический размах в произволе теоретической схемы коммуникации и информации. Последний же, как мы видели, отражается не только в господствующей социальной практике (характеризуемой вероятной монополией передающего полюса и безответственностью полюса принимающего, дискриминацией членов обмена и диктатом кода), но также и бессознательно во всех робких поползновениях революционной практики масс-медиа. Так, например, совершенно ясно, что все попытки, направленные на разрушение содержания масс-медиа лишь усиливают обособленное понятие сообщения, а значит, и абстрактную биполярность членов коммуникации.

кибернетическая иллюзия

Энзенбергер, ощущающий не-обожденность современного коммуникационного процесса, полагает возможным несколько облегчить ситуацию, выступая с требованием, чтобы на уровне масс-медиа произошла та же самая революция, которая осуществила переворот в точных науках и в отношении субъект/объект познания, которые отныне оказываются вовлеченными в продолжительное «диалектическое» взаимодействие. Масс-медиа должны были бы учитывать все последствия такого взаимодействия, в результате чего монополия должна быть разрушена, и все смогут быть интегрированы в открытый процесс.

«Программы индустрии сознания должны интегрировать в себя собственные результаты, реакции и порождаемые ими поправки... Их следует рассматривать не как средства потребления, а как средства их собственного производства».

Таким образом, эта заманчивая перспектива: 1) не затрагивает обособленности инстанций кода и послания; 2) пытается, напротив, разрушить дискриминацию обоих полюсов коммуникации, создать более гибкую структуру обмена ролями и *feed-back* («обратимость связей»).

«В своей современной форме такие изобретения, как ТВ или кино не являются более средствами коммуникации, напротив, они ставят заслон на ее пути. Они не оставляют места никакому взаимному действию между передающим и принимающим. С технической точки зрения они сводят *feed-back* к минимальному уровню, совместимому с данной системой».

Здесь также мы не выходим за рамки категорий «передатчик» и «приемник», вопреки всем усилиям по вовлечению их в дело путем «сменности». *Обратимость* не имеет ничего общего с *обоюдностью*. Несомненно, именно в силу этой глубинной причины кибернетические системы сегодня прекрасно справляются с введением в действие этой сложной регуляции, этого *feed-back*, не изменяя при этом абстрактного характера совокупного процесса и совершенно не упуская реальной «ответственности» процесса обмена. Для системы это является лучшим средством ее приукрасить, поскольку таким образом она уже заранее содержит в себе возможность такого ответа.

И действительно, как показывает Энзенбергер в своей критике оруэлловского мифа, невозможно более представить себе мегасистему централизованного контроля (система контроля за современной телефонной системой по своей сложности должна превосходить последнюю в n раз, таким образом, она практически не осуществима). Но было бы несколько наивным полагать, что факт расширения масс-медиа приводит к ликвидации цензуры. Даже на длительную перспективу не-

возможность создания полицейских мегасистем просто означает, что современные системы интегрируют — посредством *feed-back* и саморегуляции — мегасистемы контроля, ставшие отныне ненужными. Они научились включать в себя то, что отрицает их *как дополнительную переменную*. Они подразумевают цензуру в самой своей деятельности: поэтому необходимость в мегасистеме отпадает. Следовательно, они не перестают быть тоталитарными: в некотором роде они реализуют идеал того, что можно было бы назвать «децентрализованным тоталитаризмом».

На более практическом уровне масс-медиа также очень хорошо научились введению в действие формальной «обратимости» своих сетей (переписка с читателями, телефонные разговоры со слушателями, опросы и т. д.), не оставляя при этом места для какого бы то ни было ответа, ничего не меняя в разделении ролей¹⁶. Это социальная форма и политика *feed-back*. Таким образом, Энзенбергер в своей «диалектизации» коммуникации, поразительно близкой кибернетическому регулированию, по-прежнему, хотя и в более утонченной форме, остается жертвой идеологической модели, о которой мы говорили.

И точно также: для того, чтобы разрушить однонаправленность коммуникации, выраженную одновременно монополией специалистов и профессионалов и монополией классового врага по отношению к масс-медиа в целом, Энзенбергер предлагает в качестве революционного решения задачу превратить каждого в манипулятора, в смысле активного оператора, деятеля, и т. д., короче, чтобы каждый перешел бы из категории принимающего информацию в категорию ее производителя/распространителя. В этом можно отчасти усмотреть критическое обращение идеологического понятия манипулирования. Но и в этом случае в силу того, что данная «революция» в глубине сохраняет категорию

«передатчик», довольствуясь лишь ее распространением в качестве обособленной и превращающей каждого в своего собственного передатчика информации, она не приводит к краху системы масс-медиа. Мы прекрасно знаем, что следует из того, что каждый имеет свой *talkie-walkie* (переговорное устройство) или свой «Кодак» или сам снимает кино: персонализированное дилетантство, эквивалент воскресного рукоделия на периферии системы¹⁷.

Совершенно очевидно, что Энзенбергер хочет совсем иного. То, к чему он стремится, — это пресса, откорректированная, распространяемая, создаваемая своими собственными читателями (каковой отчасти является пресса *Underground*), видеоканалы, используемые отдельными политическими группировками и т. д.

Это был бы единственный способ разморозить заблокированную ситуацию:

«В социалистическом движении диалектика дисциплины и самопроизвольности, централизма и децентрализации, авторитарного лидерства и антиавторитарной дезинтеграции давно уже достигла мертвой точки. Единственно, что могло бы позволить выйти из данной ситуации, — это модели коммуникационных сетей, основанные на принципе обратимости связи».

Таким образом, речь идет о восстановлении диалектической практики. Но можно ли продолжать решать эту проблему в диалектических терминах? Разве сама диалектика не подошла к мертвой точке?

Приводимые Энзенбергером примеры представляют интерес в том плане, что они выходят за рамки «диалектики» передающей и принимающей инстанций. Мы действительно сталкиваемся здесь с процессом непосредственной коммуникации, не проходящей через бюрократические фильгры: мы находим у него оригинальную форму обмена, поскольку в данном случае *нет более*

ни передающих, ни принимающих информацию, а есть только люди, *отвечающие друг другу*. Здесь нет диалектического *преодоления* проблемы самопроизвольности и организации, а есть только *трансгрессия* этой проблемы в ее частях.

В этом — основное отличие: все прочие гипотезы оставляют категории обособленными. В первом случае (внутренняя редукция масс-медиа) распространяющая и принимающая инстанции оказываются просто объединенными в одном человеке: манипуляция здесь оказывается в некотором роде «интериоризированной»¹⁸. В другом случае («диалектика коммуникационных связей») передатчик и приемник одновременно располагаются с двух сторон: манипуляция обретает обоюдный характер (сочетание по типу гермафродита). Система может делать ставку одновременно на обе инстанции, равно как и на классическую бюрократическую модель. Она может разыгрывать все возможные комбинации обеих категорий. Главное состоит в том, что эти идеологические категории остаются в неприкосновенности, а вместе с ними и фундаментальная структура политической экономии коммуникации.

Повторим еще раз: в символическом отношении обмена существует синхронный ответ, но нет ни передатчика, ни приемника с той и другой стороны сообщения, равно как не существует и «сообщения», т. е. блока информации, которую требуется расшифровать однозначным образом при помощи кода. Роль символического как раз и состоит в разрушении этой однозначности «сообщения», в восстановлении смысла и одновременном уничтожении инстанции кода.

Это может помочь нам выявить смысл гипотезы Умберто Эко¹⁹. В заключение отметим: ничто не может изменить содержания сообщения, для этого следует изменить коды прочтения, внедрить новые коды чтения. Принимающая сторона (которая, на самом деле, таковой

не является) играет здесь главную роль, противопоставляя свой собственный код коду передающей стороны, изобретая подлинный ответ и не впадая при этом в ловушку управляемой коммуникации. Но что представляет собой это «разрушающее» прочтение? Является ли оно по-прежнему прочтением, т. е. расшифровкой, выявлением однозначного смысла? И что представляет собой предлагаемый этой стороной код? Является ли он единственным миникодом (идиолектическим, и тогда не представляющим никакого интереса) или новой направляющей схемой прочтения? В последнем случае мы имеем дело лишь с текстологическими вариациями. Предложенную Эко перспективу можно проиллюстрировать примером изменений в области коммуникации, вызванных настенным письмом после событий мая 68-го. Это изменение носило трансгрессивный характер не потому, что оно несло в себе новое содержание, новый дискурс, но потому что оно тут же, на месте давало ответ и разрушало фундаментальное правило не-ответа всех масс-медиа. Противопоставляло ли оно один код другому? Не думаю. Оно просто разрушало всякий код. Оно не требовало дешифровки в качестве дискурса, соперничающего с официальным дискурсом, оно требовало воспринимать себя именно как трансгрессию. Таким образом, трансгрессивное изменение дискурса делает ставку не на другой код как таковой, а на мгновенную деконструкцию господствующего дискурсивного кода. Оно заставляет улетучиться и категорию кода, и категорию общения.

Здесь — ключ к решению проблемы: пытаясь сохранить (даже «преодолевая их диалектически») любую из обособленных инстанций структурной сетки коммуникации, мы запрещаем себе любые фундаментальные изменения и оказываемся обреченными оставаться в рамках хрупкой манипуляторной практики, которую весьма опасно принимать за «революционную стратегию». В

этом смысле единственным стратегическим решением было бы радикальное разрушение господствующих форм.

Перевод с французского М.М. Федоровой

¹ Такой политической экономией знака является структурная лингвистика (включающая, конечно же, семиотику и все ее разветвления, в состав которых входит и теория коммуникации, о которой речь у нас пойдет дальше). Как известно, именно она является сегодня в рамках общей идеологии господствующей дисциплиной, вдохновляющей развитие антропологии, гуманитарных наук и т. д., т. е. играющую ту же роль, что в свое время играла политическая экономия, главные постулаты которой оказывали глубокое влияние на развитие психологии, социологии, а также «моральных и политических наук».

² В этом случае выражение «индустрия сознания», употребляемое Энзенбергером для характеристики современных масс-медиа, представляет собой лишь опасную метафору. Таким образом, оно является основой аналитической гипотезы, суть которой состоит в распространении на масс-медиа марксистского анализа капиталистического способа производства вплоть до нахождения структурных аналогий в отношениях: угнетаемый класс/господствующий класс; производитель-предприниматель/потребитель; посылающий и передающий знаки и послания/принимающий.

³ В действительности марксистский анализ должен быть поставлен под сомнение с двух совершенно различных радикальных точек зрения: либо как система интерпретации порядка, отделенного от материального производства, либо как система интерпретации, отделенная от производства (вообще). В первом случае гипотеза не-правильности диалектики за пределами ее «родного» поля должна быть доведена до своего логического предела: если «диалектические» противоречия между производительными силами и производственными отношениями в значительной степени отходят в сторону в области языка, знаков и идеологии, — то тогда, возможно, они никогда по-настоящему не работали и в области материального производства, так как известное развитие капиталистических производительных сил могло сгладить если и не любой конфликт, то, по крайней мере, революционные антагонизмы на уровне общественных отношений. В чем же в таком случае

состоит значимость этих понятий, если не в их чисто концептуальной целостности?

Во втором случае понятие производства вместе с образуемой им отделенной формой, с обуславливаемой им схемой представления и рационализации должно быть поставлено под сомнение в самом своем корне (а не в различных своих проявлениях). Несомненно, в самом предельном случае мы должны прийти именно к этому.

⁴ Подобного рода редукционистский детерминизм мы находим у Бурдьё и во фразеологии ФКП. Он лишен теоретической ценности. Он превращает *механизм* демократизации в революционную *ценность* в себе. Тот факт, что интеллигенция находится в противоречии с массовой культурой, является совершенно недостаточным, чтобы превратить его в революционную альтернативу. Аристократы подобным же образом роптали на буржуазную культуру, но этого никогда не было достаточно, чтобы превратить ее во что-то другое, нежели культура класса.

⁵ То же самое относится и к общественным институтам, к власти и государству: в зависимости от того, находятся ли они в лапах Капитала или принадлежат народу, они наполняются революционным содержанием или лишаются его, но при этом никогда не стоит вопрос об их форме.

⁶ Речь здесь идет не о «диалоге», который представляется лишь функциональным приведением в соответствие двух абстрактных слов, лишенных ответа, при котором друг перед другом предстают не два собеседника, но только их смоделированная речь.

⁷ Как видим, само по себе взятие *ORTF* в мае 68-го ничего бы не изменило, кроме «распространения» подрывного «содержания» — или надо было уничтожить *ORTF* как таковое, чья техническая и функциональная структура отражает монопольное использование слова.

⁸ *Bart P. S/Z*: Пер. с фр. Г.К. Косикова и В.П. Мурат / Общ. ред. и ст. Г.К. Косикова. — М.: Ad Marginem, 1993. — С. 12-13.

⁹ Мультифункциональность в этом отношении ничего не меняет. Мультифункциональность, полидисциплинарность, поливалентность во всех их формах — таков ответ системы на ее собственную одержимость приверженностью централизму и униэквивалентности. Это реакция системы на ее собственную патологию, реакция, которая, однако, не затрагивает самой логики системы.

¹⁰ Энзенбергер интерпретирует это следующим образом:

Medium is Message есть утверждение буржуазное. Оно означает, что буржуазии больше нечего сказать. Не имея более никакого содержания для передачи, она разыгрывает карту средство-ради-средства. — Если буржуазии нечего больше сказать, то социализму лучше было бы помолчать.

¹¹ Данное различие не имеет смысла по отношению к масс-медиа. Нужно отдать им должное: они в значительной степени способствуют его стиранию. Это различие присуще порядку, характеризующему трансценденцией политического, и не имеет ничего общего с тем, что во всех формах проявляется как *трансверсальность* политического. Но не следует заблуждаться на этот счет: масс-медиа способствуют ликвидации трансценденции политики лишь для того, чтобы заменить ее собственной трансценденцией, абстрактной трансценденцией формы масс-медиа, которая, будучи окончательно интегрированной в их структуру, не дает более конфликтной структуры (левые/правые). Таким образом, трансцендентность масс-медиа редуцирует традиционную трансцендентность политического, но в еще большей степени она редуцирует новую трансверсальность политического.

¹² Эту форму «разоблачения» или «распространения» очень хорошо можно проанализировать в области науки или искусства. Обобщенная воспроизводимость стирает процесс труда и смысла, оставляя лишь моделизированное содержание (см. *Ergmann R. Le miroir en miettes // Diogène. — P. 68. — 1969; Jurdat B. La vulgarisation scientifique // Communications. — P. 14).*

¹³ Нужно отметить, что эта работа всегда дублируется работой по отбору и по реинтерпретации на уровне группы принадлежности (*two step flow of communication* Лазерсфельда). Отсюда очень относительное богатство содержания масс-медиа и порождаемые ими многочисленные формы сопротивления (впрочем, следовало бы задаться вопросом, не направлены ли эти формы сопротивления в большей степени, нежели содержания, на абстрагирование самих масс-медиа: двойственная артикуляция Лазерсфельда, возможно, имеет этот смысл, так как второй артикуляцией, противостоящей всеобщности средств передачи, является артикуляция всей сети личностных отношений). Между тем это «второе» прочтение, в котором группа принадлежности противопоставляет свой личный код коду передающих информацию, безусловно, не приводит к нейтрализации, к «редукции» господствующего идеологического содержания, подобно тому, как это происходит с критическим или разрушающим содержанием. В той

мере, в какой первые (культурные модели, системы навязанных ценностей, не имеющие ни альтернативы, ни ответа, бюрократическое содержание) гомогенны общей форме масс-медиа (безответность, безответственность) и интегрируются в нее, ее удваивая, существует как бы эффект сверхдетерминации и, следовательно, более содержательное и полное богатство разрушающего содержания. Но не это главное. Важно знать, что форма трансгрессии не может быть «более или менее хорошей»: она подвержена радикальному отрицанию со стороны формы масс-медиа.

¹⁴ Так, для Вальтера Беньямина воспроизведенное произведение становится все в большей степени произведением «обозначенным» в зависимости от его способности к воспроизводству (*designed for reproducibility*). Именно в этом случае, по его мнению, произведение из ритуального превращается в «политическое». «Значимость публичного представления» революционизирует произведение искусства и его функции.

¹⁵ Оба термина столь мало связаны между собой, что потребовалось введение категории «контакт» для теоретического восстановления их единства!

¹⁶ И здесь Энзенбергер, анализирующий и разоблачающий эти сети контроля, продолжает с определенной долей идеализма: «Но это, естественно (!), обращено против структуры, и новые производительные силы не только позволяют, но и требуют (!) разрушения этой тенденции». *Feed-back* и взаимодействие представляют собой самую логику кибернетики, и было бы иллюзией недооценивать возможности системы интегрировать эти «революционные» новшества, равно как и способность капитализма развивать свои производительные силы.

¹⁷ Энзенбергер основывает свое доказательство на том факте, что «Ксерокс» сохраняет свою монополию на электростатический копируемый станок (общая возможность *free press*) и отдает ее только по очень завышенным ценам. Но главное не в том, чтобы каждый имел свой ксерокс или свою частоту в эфире. Подлинная монополия относится не к техническим средствам, но к слову.

¹⁸ Именно поэтому отдельный оператор-любитель в абстракции продолжает оставаться изолированным от массовой коммуникации. Благодаря этому внутреннему разведению двух инстанций всякий код и господствующие модели приходят в разрушение и вновь завладевают ее практикой.

¹⁹ *La Struttura assente*. — Bompiani, 1968.